



Один из моих друзей сказал мне:

— Если, путешествуя по Алжиру, тебе случится заехать в окрестности Бордж-Эббаба, навести старого моего приятеля Обалля; он обосновался там колонистом.

Я позабыл фамилию Обалль и название Эббаба и вовсе не думал об этом колонисте, как вдруг по чистой случайности попал к нему в дом.

Уже около месяца я бродил пешком по этой прекрасной стране, простирающейся от Алжира до Шершелля, Орлеанвиля и Тиарета, — стране лесистой и в то же время оголенной, величественной и пленительной. Между горными хребтами там встречаются густые сосновые леса в тесных лощинах, где зимою бурлят потоки. Исполинские деревья, упавшие поперек оврагов, служат у арабов мостами; лианы обвивают мертвые стволы, украшая их живыми побегами. В неисследованных складках гор скрываются обрывы пугающей красоты и ручьи с отлогими, поросшими олеандром берегами, полные невыразимой прелести.

Но самым сладостным воспоминанием этого путешествия остались в моей душе вечерние переходы по лесным тропинкам вдоль горных склонов, высоко над огромной бурой холмистой равниной, раскинувшейся от синего моря до цепи Уарсенийских гор, вершины которых покрыты кедровыми лесами Тениет-эль-Хаад.

В тот день я сбился с дороги. Я только что взобрался на вершину и увидел перед собою, за грядами холмов, обширную низину Митиджи, а еще дальше, на гребне другого горного хребта, в едва различимой дали, странный памятник, прозванный «Могилой христианки»; говорят, это фамильная усыпальница мавританских халифов. Я стал спускаться по южному склону. Вдали передо мной, вплоть до самых гор, вздымавшихся к ясному небу на краю пустыни, открылась равнина, холмистая, волнообразная, рыжая, такая рыжая, словно все ее холмы были устланы львиными шкурами, сшитыми вместе. Там и сям среди них выдавался какой-нибудь бугор, чуть выше других, острый и желтый, как мохнатый горб верблюда.

Я шел быстрым шагом, с легкостью, какую обычно ощущаешь, сходя с горы по извилистым тропинкам. Ничто не обременяет при этих быстрых переходах в свежем горном воздухе, ничто не тяготит — ни тело, ни сердце, ни мысли, ни заботы. В этот час я освободился от всего, что гнетет и терзает нашу жизнь, я испытывал только радость от быстрого спуска. Вдалеке я различал кочевья арабов — то темные остроконечные палатки, прилепившиеся к земле, точно морские улитки к скалам, то гурби — сплетенные из ветвей шалаши, откуда вился сероватый дымок. Белые фигуры, то ли мужские, то ли женские, неторопливо бродили вокруг, колокольчики пасущихся стад чуть слышно позвякивали в вечернем воздухе.

На пути мне попадались деревья толокнянки, клонившиеся к земле под тяжестью пурпурных плодов, которыми они усыпали дорогу. Казалось, это были деревья-мученики, источавшие кровавый пот, — с каждой ветки, точно капля крови, свешивалась красная ягода.

Вся земля вокруг была орошена этим кровавым дождем, как будто после пытки, и я, давя ногами плоды, оставлял за собою следы убийцы. Иногда я срывал на ходу самые спелые ягоды и ел их.

Долины заволакивал бледный туман, медленно подымавшийся кверху, словно пар от боков вола; а над цепью гор, замыкавших горизонт на рубеже Сахары, пылало библейское небо. Длинные золотые полосы чередовались с кровавыми — снова кровь, кровь и золото, вся история человечества, и меж ними открывался порою узкий просвет в зеленоватую лазурь, бесконечно далекую, как греза.

О, как я был далеко, как далеко от всех людей и всех дел Парижа, как далеко от самого себя — ведь я обратился в бродягу, существо без мыслей и забот, в блуждающее око, которое вечно движется, смотрит, любит, но еще дальше я был от намеченного пути, о котором и думать забыл, так как с наступлением ночи обнаружил, что заблудился.

Мрак хлынул на землю темным ливнем, и я уже не различал перед собою ничего, кроме бесконечных горных хребтов. Где-то внизу, в долине, показались палатки, я спустился туда и попытался узнать у первого встречного араба, в какую сторону лежал мой путь.

Угадал ли он смысл моих слов? Не знаю; он долго объяснял что-то, но я так ничего и не понял. С отчаяния я уже готовился, завернувшись в ковер, провести ночь возле арабского стана, как вдруг мне послышалось, что среди множества странных слов я уловил название Бордж-Эббаба.

Я повторил:

— Бордж-Эббаба?

— Да, да.

Я показал ему два франка, целое состояние! Он зашагал вперед, я за ним. О, как долго шел я в непроглядном мраке вслед за бледным призраком, который бежал передо мной босиком по каменистым тропинкам, где я сам то и дело спотыкался!

Вдруг блеснул огонек. Мы подошли к дверям белого дома, похожего на укрепленный пост, с глухими стенами, без наружных окон. Я постучался, во дворе залаяли собаки. Чей-то голос спросил по-французски:

— Кто там?

Я Отозвался:

— Здесь живет господин Обалль?

— Здесь.

Дверь отворилась, и я очутился лицом к лицу с г-ном Обаллем. Это был высокий белокурый человек богатырского сложения, с добродушным лицом, в домашних туфлях, с трубкой во рту.

Я назвал себя; он протянул мне обе руки:

— Будьте как дома, сударь.

Четверть часа спустя я с аппетитом ужинал, сидя напротив хозяина, который продолжал курить.

Я знал его историю. Промотав на женщин крупное состояние, он вложил все, что у него оставалось, в алжирские земли и начал возделывать виноградники.

Дело пошло хорошо; он зажил счастливо, и у него действительно был вид человека, довольного своей судьбой. Я не понимал, как мог этот парижанин, этот прожигатель жизни, привыкнуть к такому однообразному существованию в полном одиночестве, и стал его расспрашивать.

— Давно ли вы здесь?

— Уже девять лет.

— И вам никогда не бывает тоскливо?

— Нет, к здешним местам привыкаешь и в конце концов начинаешь их любить. Вы не поверите, как эта страна захватывает человека, воздействуя на множество сокровенных животных инстинктов, которых мы в себе и не подозреваем. Вначале мы привязываемся к ней нашими органами чувств, испытывая бессознательное ощущение довольства, в котором сами не отдаем себе отчета. Воздух и климат против воли покоряют наше тело, а лучезарный свет, заливающий все вокруг, естественно поддерживает ясное и радостное состояние духа. Солнце непрестанно вторгается в нас целыми потоками и, право же, как будто оmyвает все темные закоулки души.

— Ну, а женщины?

— Ах!.. Вот этого немного не хватает.

— Немного?

— Боже мой, ну да... немного. Ведь в арабском племени всегда можно найти услужливых туземцев, которые готовы позаботиться о ночах руми[1].

Он обернулся к арабу, который нам прислуживал, высокому смуглому малому с черными глазами, сверкавшими из-под тюрбана, и сказал ему:

— Ступай, Магомет, я позову тебя, когда понадобится.

Потом обратился ко мне:

— Он понимает по-французски, а я хочу рассказать вам одно происшествие, где он играл важную роль.

Когда тот вышел из комнаты, Обалль продолжал:

— Это случилось после того, как я прожил здесь около четырех лет; я еще не наладил как следует свою жизнь в этой стране и с трудом объяснялся на местном языке; поэтому мне приходилось время от времени ездить в Алжир, так как я не порвал окончательно со страстями, столь роковыми для меня в прошлом.

Я купил эту ферму, этот бордж, бывший сторожевой пост; он расположен в нескольких сотнях метров от туземного поселка, откуда я беру работников для моих виноградников. По приезде я нанял себе слугу, этого высокого молодца, которого вы только что видели, Магомета бен Лам'хара, из племени Улад-Таджа, и вскоре он чрезвычайно ко мне привязался. Не желая ночевать в доме, так как не привык спать под крышей, он раскинул палатку в нескольких шагах от дверей, чтобы я всегда мог кликнуть его из окна.

Вы легко можете представить себе мою жизнь. Целые дни я следил за обработкой земли и посадками, изредка охотился, обедал у офицеров соседних постов или же угощал их у себя.

— Что же касается... развлечений, я уже говорил вам, что Алжир предоставлял мне самые утонченные; а иногда во время прогулок меня останавливал услужливый, сердобольный араб и предлагал привести ко мне на ночь женщину своего племени. Иной раз я соглашался, но чаще отказывался, боясь осложнений, которые это могло вызвать.

Однажды вечером, в начале лета, когда я вернулся с обхода своих земель, мне зачем-то понадобился Магомет; я не стал звать его, а прямо вошел к нему в палатку, как заходил и раньше.

На большом красном ковре из великолепной джебель-амурской шерсти, густом и мягком, как перина, спала женщина или девушка, почти обнаженная, прикрыв глаза ладонью. Ее тело, сверкающее белизной в луче света, проникавшем сквозь завесу шатра, показалось мне одним из самых совершенных образцов арабского племени, какие мне случалось видеть. В здешних краях женщины красивы, высоки ростом, сложены на редкость пропорционально, черты их лица необычайно правильны.

Слегка смутившись, я опустил край палатки и вернулся к себе.

Я люблю женщин! Это видение обожгло и пронзило меня, точно молния, пробудив в моих жилах прежний губительный пыл, по вине которого я и попал сюда. Стоял июль, было жарко, и я провел почти всю ночь у окна, не отводя глаз от палатки Магомета, темневшей смутным пятном.

Когда на другой день он вошел ко мне в комнату, я посмотрел на него в упор, и он опустил голову со смущенным и виноватым видом. Уж не догадался ли он, что я все знаю?

Я спросил его внезапно:

— Так ты женат, Магомет?

Он покраснел и пробормотал:

— Нет, мусье!

Я заставлял его говорить по-французски и обучать меня по-арабски, поэтому у нас зачастую получался смешанный язык, довольно-таки сумбурный.

Я продолжал.

— Тогда почему же у тебя женщина?

Он пробормотал:

— Он с юга.

— Ах, она с юга! Но это не объясняет, как она попала к тебе в палатку.

Не отвечая на мой вопрос, он сказал:

— Он очень красивый

— Ах, вот что! Ну так в следующий раз, когда к тебе придет очень красивая женщина с юга, будь любезен послать ее в мой шатер, а не в свой. Понял, Магомет?

Он ответил с величайшей серьезностью:

— Да, мусье.

Признаюсь, в течение целого дня я испытывал бурное волнение при воспоминании об этой арабской девушке, раскинувшейся на красном ковре, и, когда я пришел к обеду домой, меня сильно потянуло опять заглянуть в палатку Магомета. Вечером он прислуживал мне, как обычно, с бесстрастным лицом, и я несколько раз чуть не спросил, долго ли он будет прятать в шатре из верблюжьей шерсти эту красавицу с юга.

Около девяти часов, все еще обуреваемый желанием, столь же упорным, как охотничий инстинкт у собак, я вышел из дому, чтобы подышать воздухом и побродить вокруг шатра из темной ткани, сквозь которую просвечивала блестящая точка огня.

Потом я ушел подальше, чтобы Магомет не застал меня около своего жилища.

Возвратившись домой час спустя, я отчетливо разглядел в палатке его профиль. Вынув из кармана ключ, я прошел к себе в бордж, где жили вместе со мной мой управляющий, двое работников французов и старая повариха, нанятая в Алжире.

Я поднялся по лестнице и удивился, заметив полоску света под своей дверью. Я отворил ее и прямо перед собой, на соломенном стуле возле стола, где горела свеча, увидел девушку с лицом восточного идола, разукрашенную всевозможными серебряными безделушками, какие носят женщины юга на ногах, на руках, на шее, даже на животе. Она, по-видимому, спокойно ждала моего прихода. Глаза ее, увеличенные кхолом[2], были устремлены на меня; четыре синих знака, в виде звезды, искусно нататуированные на коже, украшали ее лоб, щеки и подбородок. Увешанные браслетами руки покоились на бедрах. Одета она была в спадающую с плеч красную шелковую геббу.

Когда я вошел, она поднялась и встала передо мной во весь рост с видом горделивой покорности, блистая своими дикарскими украшениями.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я по-арабски.

— Я пришла, потому что мне так приказано.

— Кто тебе приказал?

— Магомет.

— Хорошо. Садись.

Она села, опустил глаза, а я стоял перед ней и разглядывал ее.

Лицо у нее было своеобразное, правильное, тонкое, с несколько чувственным выражением и в то же время таинственное, как лицо Будды. Полные ярко-красные губы и темные соски указывали на легкую примесь негритянской крови, хотя плечи и руки отличались безупречной белизной.

Я не знал, что делать, был взволнован, смущен, очарован. Чтобы выиграть время и собраться с мыслями, я стал расспрашивать ее, откуда она, как попала в эту местность и в каких она отношениях с Магометом. Но она отвечала лишь на самые неинтересные для меня вопросы, и мне так и не удалось дознаться, почему она пришла, с какой целью, кто ее послал, когда именно и что произошло между нею и моим слугой.

Я хотел было оказать ей: «Возвращайся в палатку к Магомету», — но она порывисто поднялась, может быть, угадав мое намерение, закинула обнаженные руки — при этом движении все ее браслеты, зазвенев, соскользнули к плечам, — обняла меня за шею и притянула к себе с вкрадчивой и непреодолимой властностью.

Глаза ее, загоревшиеся желанием обольстить, той жадной покорить мужчину, которая придает кошачье очарование коварному взгляду женщин, завлекали меня, поработали, лишали способности сопротивляться, возбуждали во мне неистовый пыл. То была короткая борьба одних взглядов, безмолвная, яростная, вечная борьба двух зверей в человеческом образе, самца и самки, в которой самец всегда оказывается побежденным.

Ее руки обвивали мою шею и медленным, покоряющим движением, неодолимым, как механическая сила, притягивали меня к ее красным губам, раскрытым в чувственной улыбке, и вдруг наши губы слились, и я обнял это почти обнаженное тело, увешанное с головы до ног серебряными кольцами, которые звенели от моих объятий.

Она была гибкая, здоровая, как животное, и ее повадки, движения, грация, особый аромат, чем-то напоминающий газель, сообщали ее поцелуям неизведанную сладость, незнакомую моим чувствам, как вкус тропических плодов.

Вскоре... я говорю вскоре, хотя, может быть, то было уже под утро... я хотел Отослать ее; я полагал, что она уйдет так же, как пришла, и еще не думал, что с нею будет дальше.

Но как только она поняла мое намерение, она прошептала:

— Если ты прогонишь меня, куда же я пойду? Ведь на дворе ночь. Мне придется спать на голой земле. Позволь мне лечь на ковре, в ногах твоей постели.

Что я мог возразить? Что мне было делать? Я подумал, что Магомет, должно быть, смотрит теперь на освещенное окно моей комнаты, и всевозможные вопросы, не приходившие мне в голову в смятении первых минут, всплыли в моем сознании.

— Ну что ж, оставайся, — сказал я, — потолкуем.

Мое решение было принято в один миг. Уж если случай бросил эту девушку ко мне в объятия, я оставлю ее у себя и буду держать в доме как любовницу-рабыню, наподобие женщин гарема. Когда она мне наскучит, я без труда избавлюсь от нее тем или иным способом, — ведь на африканской земле эти создания принадлежат нам почти целиком, душой и телом.

Я сказал ей:

— Я буду добр к тебе. Я буду обращаться с тобой хорошо и не обижу тебя, но я хочу знать, кто ты такая и откуда пришла.

Она поняла, что надо ответить, и рассказала мне свою историю, вернее, какую-то историю, так как, без сомнения, лгала с начала до конца, как лгут все арабы — всегда, по любому поводу и без всякого повода.

Вот одно из самых поразительных и самых необъяснимых свойств туземного характера — лживость. Эти люди, в которых ислам внедрился до такой степени, что стал частью их природы, воспитал их чувства, создал особую мораль, видоизменил целую расу и отделил ее от других, как цвет кожи отличает негра от белого, — все они лживы до мозга костей, настолько лживы, что нельзя верить ни единому их слову. Обязаны ли они этим своей религии? Не знаю. Нужно пожить среди них, чтобы понять, насколько ложь срослась с их существом, сердцем, душой, насколько она стала как бы второй их натурой, жизненной потребностью.

Итак, она рассказала мне, что она дочь каида из племени Улед-Сиди-Шейх и женщины, похищенной им у туарегов во время набега, женщина эта была, наверное, чернокожей рабыней или происходила от смешения арабской крови с негритянской. Негритянки, как известно, высоко ценятся в гаремах за свою чувственность.

Ничто, впрочем, не указывало в девушке на такое происхождение, разве только ярко окрашенные губы и темные соски удлинённых грудей, заостренных и упругих, вздымавшихся, словно на пружинах. В этом внимательный взгляд не мог бы ошибиться. Но во всем остальном она принадлежала к красивой расе юга — белая, гибкая, с правильными и строгими чертами тонкого лица, напоминающего лица индусских изваяний. Широко расставленные глаза придавали этой дочери пустыни еще большее сходство с каким-то божеством.

О ее подлинной жизни я так и не узнал ничего определенного. Она болтала о каких-то мелочах, как бы случайно всплывавших в ее беспорядочной памяти, приплетая к ним ребячески-наивные наблюдения, целый мир образов кочевого народа, родившийся в мозгу этой белки, которая перескакивала из шатра в шатер, из стана в стан, из племени в племя.

Все это она выложила с присущим ее горделивому народу суровым видом, с лицом идола, которому вздумалось поболтать, и с несколько забавной важностью.

Когда она кончила, я заметил, что так ничего и не запомнил из всего этого длинного рассказа, полного незначительных происшествий, накопившихся в ее ветреной головке; и я спрашивал себя: не хотела ли она просто-напросто одурачить меня пустой болтовней, чтобы я не узнал ничего ни о ней самой, ни о каком-либо событии ее жизни?

И я стал думать об этом покоренном народе, на земле которого мы обитаем или, вернее, который обитает среди нас; мы начинаем говорить на его языке, мы наблюдаем его повседневную жизнь сквозь прозрачный полог шатра, предписываем ему наши законы, правила, обычаи, и все же мы ничего о нем не знаем, поймите — решительно ничего, как будто не живем здесь вот уже шестьдесят лет и не заняты исключительно тем, что его изучаем. Мы так же мало знаем о том, что происходит в этом шалаше из ветвей или в этой маленькой изодранной палатке, укрепленной на колышках в двадцати метрах от нашей двери, как и о том, что делают, о чем думают, что представляют собой так называемые цивилизованные арабы в мавританских домах Алжира. За выбеленными известкой стенами своих городских домов, за плетеной стенкой гурби или за тонкой, колышмой ветром бурой занавеской из верблюжьей шерсти — они живут возле нас, неведомые, загадочные, лживые, замкнутые, покорные, улыбающиеся, непроницаемые. Поверите ли, разглядывая издали в бинокль соседний стан, я отлично вижу, что у них сохранилось много суеверий, обрядов, обычаев, о которых мы еще не знаем и даже не подозреваем! Быть может, никогда еще народ, побежденный насильем, не уклонялся с такой ловкостью от действительного порабощения, от нравственного влияния, от настойчивого, но бесполезного изучения со стороны победителя.

И тут я вдруг почувствовал сильнее, чем когда-либо, что эта непреодолимая таинственная преграда, воздвигнутая между расами непостижимой природой, встала между арабской девушкой и мной, между женщиной, которая только что отдалась, покорилась моим ласкам, и мною, тем, кто обладал ею.

Только теперь мне пришло в голову спросить ее:

— Как тебя зовут?

Она молчала, затем я увидел, как она вздрогнула, словно уже успела забыть о моем присутствии. По ее глазам, поднятым на меня, я угадал, что еще минута — и ее одолеет сон, непобедимый, внезапный сон, почти молниеносный, как все, что овладевает изменчивыми чувствами женщин.

Она ответила лениво, подавив зевок:

— Аллума.

Я спросил:

— Тебе хочется спать?

— Да, — сказала она.

— Ну что же, спи.

Она спокойно улеглась рядом со мною, вытянувшись на животе, опершись лбом на скрещенные руки, и я почти сейчас же почувствовал, как бессвязные мысли этой дикарки угасли в забытьи.

Лежа рядом с нею, я погрузился в раздумье, стараясь понять происшедшее. Почему Магомет отдал ее мне? Поступил ли он, как великодушный слуга, который настолько предан своему господину, что уступает ему женщину, пришедшую к нему в палатку, или же, бросив на мое ложе приглянувшуюся мне девушку, он руководился мыслью более сложной, более корыстной, менее благородной? Когда дело касается женщин, арабы проявляют, с одной стороны, целомудренную строгость, с другой — постыдную услужливость; в их суровой и одновременно сговорчивой морали так же трудно разобраться, как и в прочих их чувствах. Возможно, что, случайно войдя в шатер Магомета, я предвосхитил намерения догадливого слуги, который сам собирался предложить мне эту женщину, свою подругу, сообщницу, а может быть, и любовницу.

Все эти предположения теснились в моей голове, и так меня утомили, что я тоже погрузился в глубокий сон.

Я проснулся от скрипа двери: Магомет, как всегда, пришел разбудить меня. Он растворил окно, и ворвавшийся солнечный поток осветил на постели еще спавшую Аллуму. Магомет подобрал с ковра мои брюки, жилет и куртку, чтобы вычистить их. Он ни разу не взглянул на женщину, лежавшую рядом со мною, не подал и виду, что замечает ее присутствие; ни его обычная важность, ни походка, ни выражение лица не изменились. Однако дневной свет, движение, осторожные шаги босых ног, свежий воздух, который пахнул на нее и проник в ее легкие, разбудил Аллуму. Она вытянула руки, повернулась, раскрыла глаза, посмотрела на меня, так же равнодушно взглянула на Магомета и села на постели. Потом пробормотала:

— Я хочу есть.

— Чего ты хочешь? — спросил я.

— Кахуа.

— Кофе и хлеба с маслом?

— Да.

Стоя у нашего ложа с моим платьем, перекинутым через руку, Магомет ожидал приказаний.

— Принеси завтрак для Аллумы и для меня, — сказал я.

И он вышел, не выразив ни малейшего удивления, ни малейшего неудовольствия.

После его ухода я спросил у молодой арабки:

— Хочешь жить у меня в доме?

— Да, хочу.

— Я отведу тебе отдельное помещение и дам женщину для услуг.

— Ты великодушен, я благодарна тебе.

— Но если ты будешь плохо себя вести, я тебя прогоню.

— Я буду делать все, что ты захочешь.

Она взяла мою руку и поцеловала в знак покорности.

Магомет снова вошел, неся поднос с завтраком. Я сказал ему:

— Аллума будет жить у меня в доме. Расстели ковры в комнате в конце коридора и пошли за женой Абд эль-Кадир эль-Хадара; она будет ей прислуживать.

— Слушаю, мусье.

Вот и все.

Час спустя арабская красавица водворилась в большой светлой комнате, и когда я зашел проверить, все ли устроено как следует, она попросила умоляющим голосом подарить ей зеркальный шкаф. Пообещав ей этот подарок, я вышел. Я оставил ее сидящей на корточках на джебель-амурском ковре, с папирской во рту; она так оживленно болтала со старой арабкой, за которой я послал, как будто они знали друг друга сто лет.

Целый месяц я был очень счастлив с нею и странным образом привязался к этому существу чужой расы, казавшемуся мне как бы существом другой породы, рожденным на иной планете.

Я не любил ее, нет, нельзя любить дочерей этой первобытной страны. Между ними и нами, даже между ними и мужчинами их племени никогда не расцветает голубой цветок северных стран. В этих женщинах еще слишком много животных инстинктов, души их слишком примитивны, чувства недостаточно развиты, чтобы пробудить в нас сентиментальный восторг, составляющий поэзию любви. Ничто духовное, никакое опьянение ума не примешивается к чувственному опьянению, которое вызывают в нас эти обворожительные и ничтожные создания.

Однако они держат нас в своей власти, они опутывают нас, как и прочие женщины, только по-иному, не так цепко, не так жестоко, не так мучительно.

Чувство, которое я испытывал к этой девушке, я и сейчас не сумел бы определить. Я уже говорил вам, что Африка, этот пустынный край, страна без искусств, без всяких духовных развлечений, покоряет наше тело незнакомым, но неотразимым очарованием, лаской воздуха, неизменной прелестью утренних и вечерних зорь, лучезарным светом, благотворным воздействием на все наши чувства. Так вот, Аллума покорила меня так же — множеством скрытых чар, пленительных, чисто физических, ленивой восточной негой объятий, своей любовной покорностью.

Я дал ей полную свободу; она могла уходить из дому, когда ей вздумается, и по крайней мере через день проводила послеполуденные часы в соседнем поселке, среди жен моих работников-туземцев. Нередко она целыми днями любовалась своим отражением в зеркале шкафа из красного дерева, который я выпилал из Миляны. Она деловито разглядывала себя, стоя перед большой зеркальной дверцей и изучая каждое свое движение с глубоким и серьезным вниманием. Она выступала, слегка запрокинув голову, чтобы видеть свои бедра и стан, поворачивалась, отступала, подходила ближе, а затем, утомившись, усаживалась на подушки против зеркала, не спуская с него глаз, со строгим лицом, вся погружившись в созерцание.

Вскоре я заметил, что она почти каждый день уходит куда-то после завтрака и пропадает до вечера.

Слегка обеспокоенный, я спросил Магомета, не знает ли он, что она делает в эти долгие часы отсутствия. Он ответил спокойно:

— Не тревожься, ведь скоро рамадан. Должно быть, он ходит на молитву.

Он тоже, казалось, был рад, что Аллума живет у нас в доме. Но ни разу не заметил я между ними ничего подозрительного, ни разу мне не показалось, что они прячутся от меня, сговариваются или что-нибудь скрывают.

И я примирился с создавшимся положением, не вникая в него, предоставляя все времени, случаю и самой жизни.

Нередко, обойдя свои земли, виноградники и пашни, я отправлялся пешком в дальние прогулки. Вам знакомы великолепные леса в этой части Алжира, почти непроходимые овраги, где поваленные кедры преграждают течение горных потоков, узкие долины олеандров, которые с высоты гор кажутся восточными коврами, разостланными по берегам речки. Вы знаете, что повсюду в лесах и на склонах холмов, где как будто еще не ступала нога человека, можно натолкнуться на снежно-белый купол куббы, где покоятся кости какого-нибудь смиренного марабута-отшельника, гробницу которого лишь изредка посещают особенно рьяные почитатели, приходящие из соседнего дуара[3] со свечой, чтобы возжечь ее на могиле святого.

И вот однажды вечером, возвращаясь домой, я проходил мимо одной из таких магометанских часовен и, заглянув в открытую дверь, увидел женщину, молившуюся перед святыней. Прелестная была картина — эта арабка, сидящая на земле в заброшенной часовенке, где ветер разгуливал на воле, наметая по углам в золотистые кучи тонкие сухие иглы сосновой хвои. Я подошел поближе, чтобы лучше разглядеть, и вдруг узнал Аллumu. Она не заметила меня, не слыхала ничего, всецело отдавшись беседе со святым; она что-то шептала ему вполголоса, она говорила с ним, чувствуя себя с ним наедине, поверяя слугителю бога все свои заботы. Порою она замолкала, чтобы подумать, припомнить, что ей осталось еще сказать, чтобы ничего не упустить из своих признаний, а иногда вдруг оживлялась, как будто он отвечал ей, как будто советовал что-то, чему она противилась и против чего спорила, приводя свои доводы.

Я удалился так же бесшумно, как пришел, и вернулся домой к обеду.

Вечером я послал за ней, и она вошла с озабоченным видом, обычно вовсе ей не свойственным.

— Сядь сюда, — сказал я, указывая ей место рядом с собой на диване.

Она села, но когда я нагнулся поцеловать ее, она быстро отдернула голову.

Я был поражен:

— Что такое? Что с тобой?

— Теперь рамадан, — сказала она.

Я расхохотался.

— Так марабут запретил тебе целоваться во время рамадана?

— О да, я арабская женщина, а ты руми!



— Это большой грех?

— О да!

— Значит, ты весь день ничего не ела до захода солнца?

— Ничего.

— А после заката солнца?

— Ела.

— Но раз ночь уже настала и ты разрешаешь себе есть, тебе незачем быть строгой и в остальном.

Она казалась раздосадованной, задетой, оскорбленной и возразила с высокомерием, какого я не замечал в ней до сих пор:

— Если арабская девушка позволит руми прикоснуться к ней во время рамадана, она будет проклята навеки.

— И так будет продолжаться целый месяц?

Она отвечала убежденно:

— Да, весь месяц рамадана.

Я притворился рассерженным и сказал ей:

— Ну так ступай справляй рамадан со своей родней.

Она схватила мои руки и поднесла их к своей груди.

— О, прошу тебя, не сердись, ты увидишь, какой я буду милой! Хочешь, мы вместе отпразднуем рамадан? Я буду ухаживать за тобой, угождать тебе, только не сердись.

Я не мог удержаться от улыбки, — так она была забавна в своем огорчении, — и Отослал ее спать.

Через час, когда я собирался лечь в постель, раздались два легких стука в дверь, таких тихих, что я едва их расслышал.

Я крикнул: «Войдите!» Появилась Аллума, неся перед собой большой поднос с арабскими сладостями, засахаренными, обжаренными в масле крокетками, сладкими печеньками, с целой грудой диковинных туземных лакомств.

Она смеялась, показывая чудесные зубы, и повторяла:

— Мы вместе будем справлять рамадан.

Вам известно, что пост у арабов, длящийся с восхода солнца до темноты, до того момента, когда глаз перестает различать белую нить от черной, завершается каждый вечер небольшой пирушкой в тесном кругу, где угощение затягивается до утра. Таким образом, выходит, что для туземцев, не слишком строго соблюдающих закон, рамадан состоит в том, что день обращается в ночь, а ночь в день. Но Аллума заходила гораздо дальше в своем благочестии. Она поставила поднос на диване между нами и, взяв длинными тонкими пальцами обсыпанный сахаром шарик, положила его мне в рот, шепча:

— Это вкусно, отведай.

Я раскусил легкое печенье, в самом деле необычайно вкусное, и спросил:

— Ты сама все приготовила?

— Да, сама.

— Для меня?

— Да, для тебя.

— Чтобы примирить меня с рамаданом?

— Да, не сердись! Я буду угощать тебя так каждый вечер.

О, какой мучительный месяц я провел! Месяц подслащенный, приторный и несносный, месяц нежных забот и искушений, порывов ярости и напрасных попыток сломить непреклонное сопротивление.

Затем, когда наступили три дня бейрама, я отпраздновал их на свой лад, и рамадан был позабыт.

Лето прошло; оно было очень жаркое. В первые дни осени я заметил, что Аллума стала озабоченной, рассеянной, безучастной ко всему.

И вот как-то вечером, когда я послал за ней, ее не оказалось в комнате. Я подумал, что она бродит где-нибудь по дому, и велел отыскать

ее, но она не появлялась; я отворил окно и крикнул:

— Магомет!

Сонный голос отозвался из палатки:

— Да, мусье.

— Не знаешь ли, где Аллума?

— Нет, мусье, неужели Аллума пропал?

Через минуту мой араб вбежал ко мне встревоженный, не в силах скрыть своего волнения. Он спросил:

— Аллума пропал?

— Ну да, Аллума пропала.

— Не может быть!

— Отыщи ее, — сказал я.

Он остановился, задумавшись, что-то соображая, сиюсь понять. Потом бросился в ее опустевшую комнату, где наряды Аллумы были разбросаны в восточном беспорядке. Он осмотрел все, точно сыщик, или, вернее, обнюхал все, точно собака; потом, устав от этих усилий, прошептал с покорностью судьбе:

— Ушел, совсем ушел!

Я опасался несчастного случая, — Аллума могла упасть на дно оврага, вывихнуть себе ногу, — и потому поднял на ноги всех обитателей поселка, приказав искать ее, пока не найдут.

Ее искали всю ночь, искали весь следующий день, искали целую неделю. Но не нашли ничего, что могло бы навести на ее след. Я тосковал, мне ее не хватало; дом казался мне пустым и жизнь бесцельной. К тому же мне приходили в голову тревожные мысли. Я боялся, что ее похитили, что ее, может быть, убили. Но когда я начинал расспрашивать Магомета, делиться с ним своими опасениями, он неизменно отвечал:

— Нет, он ушел.

И прибавлял арабское слово «рхэзаль», означающее «газель», как бы желая сказать, что Аллума бегает быстро и что она далеко.

Прошло три недели, и я уже потерял надежду увидеть вновь свою арабскую любовницу, как вдруг однажды утром Магомет вошел ко мне с сияющим от радости лицом и сказал:

— Мусье! Аллума вернулся.

Я соскочил с кровати:

— Где она?

— Не смеет войти! Вон он там, под деревом!

И, протянув руку, он указал мне в окно на что-то белое, у подножия оливкового дерева.

Я оделся и вышел. Приближаясь к этому свертку тряпок, как будто брошенному к подножию ствола, я узнал большие темные глаза, нататуированные звезды, продолговатое и правильное лицо обворожившей меня дикарки. Чем ближе я подходил, тем сильнее поднимался во мне гнев, мне хотелось ударить ее, сделать ей больно, Отомстить.

Я крикнул издали:

— Откуда ты пришла?

Она сидела неподвижно, безучастно, словно жизнь едва теплилась в ней, и молчала, готовая снести мой гнев, покорно ожидая побоев.

Я подошел к ней, пораженный видом покрывавших ее лохмотьев — лоскутьев шелка и шерсти, серых от пыли, изодранных, до отращения грязных.

Я повторил, замахнувшись на нее, как на собаку:

— Откуда ты пришла?

Она прошептала:

— Оттуда.

— Откуда?

— Из племени.

— Из какого племени?

— Из моего.

— Почему ты ушла от меня?

Видя, что я ее не бью, она осмелела:

— Так надо было... так надо... Я не могла больше жить в доме, — вполголоса ответила она.

Я увидел слезы у нее на глазах и вдруг расчувствовался, как дурак. Я наклонился к ней и, повернувшись, чтобы сестра увидела Магомета, который издали следил за нами.

Я переспросил как можно мягче:

— Ну скажи, отчего ты ушла?

Тогда она рассказала, что в ее душе уже давно таилась неодолимая жажда вернуться к кочевой жизни, спать в шатрах, бегать, кататься по песку, бродить со стадами по равнинам, не чувствовать больше над головой, между желтыми звездами небесного свода и синими звездами на своем лице, никакой крыши, кроме тонкого полога из заплата и истрепанной ткани, сквозь которую светятся огненные точки, когда просыпаешься ночью.

Она объяснила мне это в наивных и сильных выражениях, таких правдивых, что я поверил ей, растрогался и спросил:

— Почему же ты не сказала мне, что хочешь на время уйти?

— Ты бы не позволил...

— Если бы ты обещала вернуться, я бы отпустил тебя.

— Ты не поверил бы мне.

Видя, что я не сержусь, она засмеялась и прибавила:

— Ты видишь, с этим покончено, я вернулась домой, и вот я здесь. Мне надо было побыть там всего несколько дней. Теперь с меня довольно. Все кончено, все прошло, я здорова. Я вернулась, мне опять хорошо. Я очень рада. Ты добрый.

— Пойдем домой, — сказал я.

Она встала. Я взял ее руку, узкую руку с тонкими пальцами. Торжествующая, звеня кольцами, браслетами, ожерельями и монистами, важно выступая в своих лохмотьях, она проследовала к дому, где нас ожидал Магомет.

Прежде чем войти, я повторил:

— Аллума! Всякий раз, когда тебе захочется вернуться к своим, скажи мне об этом, и я отпущу тебя.

Она спросила недоверчиво:

— Ты обещаешь?

— Обещаю.

— И я тоже обещаю. Когда мне станет тяжело, — она приложила руки ко лбу пленительным жестом, — я скажу тебе: «Мне надо уйти туда», — и ты меня отпустишь.

Я проводил Аллуму в ее комнату; за нами следовал Магомет, который принес воды, так как жену Абд эль-Кадир эль-Хадара еще не успели предупредить, что ее госпожа вернулась.

Войдя в комнату, Аллума увидела зеркальный шкаф и устремилась к нему с просиявшим лицом, как бросаются к матери после долгой разлуки. Она разглядывала себя несколько секунд, соорудила гримасу и сказала зеркалу сердитым голосом:

— Не думай, у меня в шкафу есть шелковые платья. Сейчас я опять буду красивой,

Я оставил ее одну кокетничать с своим отражением.

Наша жизнь потекла, как прежде, и я все больше и больше поддавался странному, чисто физическому обаянию этой девушки, относясь к ней в то же время как-то отечески покровительственно.

Все шло хорошо в течение полугода, потом я почувствовал, что она опять стала нервной, возбужденной, немного печальной. Как-то раз я спросил ее:

— Уж не хочешь ли ты вернуться к своим?

— Да, хочу.

— Ты не смела мне сказать?

— Не смела.

— Иди, я разрешаю.

Она схватила мои руки и поцеловала их, как всегда делала в порыве благодарности, а наутро исчезла.

Вернулась она, как и в первый раз, недели через три, опять вся оборванная, черная от пыли и загара, насытившаяся кочевой жизнью, песком и свободой. За два года она уходила таким образом четыре раза.

Я с радостью принимал ее, не ревнуя, потому что ревность, по-моему, может быть вызвана только любовью, как мы ее понимаем у себя на родине. Разумеется, я был вполне способен убить ее, если бы открыл измену, как приканчивают в порыве ярости непослушную собаку. Но я не испытал бы тех мучений, того пожирающего огня, той страшной пытки, какие приносит ревность у нас на севере. Вот я сказал, что убил бы ее, как непослушную собаку. И в самом деле, я любил ее, как любят редкостное животное, собаку или лошадь, к которым иной раз так привязываешься. Это был восхитительный зверь, чувственный зверь, зверь с телом женщины, созданный для наслаждения.

Я не смог бы объяснить вам, какая неизмеримая пропасть разделяла наши души, хотя сердца наши по временам бились в лад и согревали друг друга. Она была частью моего дома, моей жизни, привычной забавой, которой я дорожил, я был привязан к ней физической, чувственной любовью.

Однажды поутру Магомет вошел ко мне с расстроенным лицом, с тем особым беспокойным взглядом арабов, который напоминает бегающие глаза кошки при встрече с собакой.

Увидев его, я спросил:

— Ну? Что случилось?

— Аллума ушел.

Я рассмеялся.

— Ушла? Куда же?

— Совсем ушел, мусье!

— Как это совсем ушла?

— Да, мусье.

— Ты с ума спятил, мой милый!

— Нет, мусье.

— Почему ушла? Каким образом? Да ну же! Объясни, в чем дело!

Он стоял неподвижно, не желая говорить; потом вдруг им овладел один из тех приступов бешенства, какие нам случается видеть порою на городских улицах при ссоре арабов, когда их восточная молчаливость и важность внезапно уступают место исступлению, необузданной жестикуляции и отчаянным воплям.

Из его бессвязных выкриков я понял только, что Аллума сбежала с моим пастухом.

Мне пришлось успокаивать Магомета и выпытывать у него подробности одну за другой.

Это было нелегкое дело, но наконец я узнал, что вот уже с неделю он следил за моей любовницей; она ходила в ближайшую рощу кактусов или в олеандровую долину на свидания с бродягой, которого мой управляющий нанял в пастухи в конце прошлого месяца.

Этой ночью Магомет видел, как она вышла из дому, и не дождался ее возвращения; он твердил вне себя:

— Он ушел, мусье, совсем ушел!

Не знаю, почему, но мне в ту же минуту передалась его уверенность, твердая, беспорная уверенность, что Аллума сбежала с бродягой. Это было нелепо, неправдоподобно и вместе с тем несомненно, принимая во внимание, что безрассудство — единственная логика женщин.

Сердце мое сжалось, кровь закипела от гнева, я старался представить себе этого человека и вдруг припомнил, что видел его на прошлой неделе: он стоял на пригорке среди своего стада и смотрел на меня. То был рослый бедуин, с загорелой кожей под цвет его лохмотьев, — тип грубого дикаря с выдающимися скулами, крючковатым носом, срезанным подбородком, худыми ногами, костлявый, оборванный верзила с коварными глазами шакала.

Я больше не сомневался — да, она бежала с этим негодяем. Почему? Потому что это была Аллума, дочь песков. А там, в Париже, какая-нибудь дочь тротуаров сбежала бы с моим кучером или с уличным бродягой.

— Ладно, — сказал я Магомету. — Ушла — тем хуже для нее. Мне надо писать письма. Оставь меня одного.

Он вышел, удивленный моим спокойствием. А я встал и растворил окно, глубоко, всей грудью вдыхая знойный ветер с юга; дул сирокко.

И я подумал: «Господи, ведь она... ведь она просто женщина, как всякая другая. Разве знаешь... разве мы знаем, почему они совершают те или иные поступки, что заставляет их полюбить человека, пойти за ним или бросить его?»

Да, иной раз мы знаем это, но чаще не знаем. Порою только догадываемся.

Почему она скрылась с этим скотом? Почему? Да хотя бы потому, что вот уже месяц как ветер дует с юга почти ежедневно.

Этого достаточно! Довольно одного дуновения! Разве женщина знает, разве понимают самые утонченные, самые изысканные из них, почему они поступают так, а не иначе? Не больше, чем флюгер. Еле ощутимое дуновение заставляет вращаться стрелку из железа, из меди, из жести или дерева; точно так же незаметное воздействие, неуловимое впечатление волнует и толкает на решения изменчивое сердце женщины, будь она из города, из деревни, из предместья или из пустыни.

Впоследствии они поймут, если способны рассуждать и сознавать, отчего поступили именно так, но в данную минуту они не знают этого, потому что они игрушки своей капризной чувственности, безрассудные рабыни случайностей, обстоятельств, чувств, встреч и прикосновений, возбуждающих их душу и тело.

Г-н Обалль встал. Он прошелся по комнате, посмотрел на меня и сказал с усмешкой:

— Вот она, любовь в пустыне!

Я спросил:

— А что, если Аллума вернется?

Он пробормотал:

— Мерзкая девка!.. Что же, я все-таки был бы рад.

— И вы простили бы ей пастуха?

— Боже мой, конечно! Женщинам приходится всегда прощать... или же закрывать глаза.

Примечания

Впервые напечатано в газете «Эко де Пари» фельетонами с 10 по 15 февраля 1889 года. Для переиздания новеллы в книге автор несколько сократил развязку. В 1892 году эта новелла была издана отдельной книгой, в виде художественного издания, Обществом современных библиофилов.

1 Руми — так арабы называют христиан-европейцев.

2 Кхоль — притирание для бровей и век, которым пользуются арабки.

3 Дуар — арабское селение.